

Рп I 1083677

ас

# ИВАН ЕВДОКИМОВ ПРОСЁЛКИ

РАССКАЗЫ



БИБЛИОТЕКА  
„ОГОНЕК“

**№ 208**

АКЦ. ИЗД. О-ВО  
„ОГОНЕК“

МОСКВА—1926

<p><b>А БРАГИН</b> А ВСЕ ТАКИ ЗАВЕРШЕН</p> 	<p><b>БОР ПИЛЫНЯК</b> МЕТЕЛЬ</p> 	<p>А СЛИХОКИН <b>СИМОЧКА</b></p> 	<p>ВЕРСТ ТО ЛУКА <b>ШТУРМ ГОЛОДА</b></p> 
<p><b>ГЕРБЕРТ УОЛК</b></p> 	<p>Г. А. АНДЕРСЕН <b>ТЕНЬ</b></p> 	<p>Д СЕМЕНОВСКИЙ <b>ПО СЛЕДАМ МЯТЕЖА</b></p> 	<p>ОКТАВ ЧИЧЕЛ <b>СЫН ЗЕМЛИ</b></p> 
<p><b>ДЖЕК ЛОНДОН</b> <b>ВСТРЕЧА</b></p> 	<p><b>С ОБРАДОВИЧ</b></p> 	<p>А МАЛЫШКИН <b>НОЧЬ ПОД КРИВЫМ РОГОМ</b></p> 	<p>В ПРАВДУЧЕВ <b>ФАЗАНЫ</b></p> 
<p>АНАТОЛИЙ МАШИЩЕВ <b>О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ</b></p> 	<p><b>ВЛ БОМЧ-БРУЕВИЧ</b> <b>НЕДАВНЕЕ</b></p> 	<p><b>А. П. ЧЕХОВ</b> ДЕЛО СКОПИНСКОГО БАНКА</p> 	<p>ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ <b>РАССКАЗЫ</b></p> 

ИВАН ЕВДОКИМОВ

РАССКАЗЫ

К1 1083677

ВОЛОГОДСКАЯ  
областная библиотека  
им. И. В. Бабушкина

Акц. Изд. О-во «ОГОНЕК»  
Москва.—1926

Отпечатано  
в Типо-лит. Акц. Изд. О-ва  
„ОГОНЕК“. Москва,  
Сретенка, Последний пер., д. 28  
Тираж 13.000  
Главлит № 73118

## ВОРЫ 12-го ПОЛКА

В двенадцатом полку был вор. Долго этого вора не могли поймать. Подозревали взводного Крохоборова. Подозревали потому, что был жадеп ненасытной бережливостью взводный. Драл он со своего взвода после фельдфебеля за каждую солдатскую провинность, драл он, хватая из рук копейки, табак, деревенские гостинцы. Был у него в взводе скуповатый и малопонятливый рядовой Курицын. Скопил он тридцать рублей, юдшил их за гапник, выставив холстину серебряными рублями. Серебряный пояс охватывал ядреное брюхо Курицына,—и отпечатывались на перетяжке по телу рублевые кругляшки. Курицын был ряб и шершав, как засиженный диван в прихожей. Широкоскулый, широкозадый, с широко расставленными дырками поздрей, а глаза у него были будто два черных ярушечьих катышка, Курицын ошупывал на дню сто раз свой гапник и обводил по нему испуганными пальцами, поддегивал штаны и жевал губой.

— Вшей много: чешешься? — фыркал Крохоборов. — Не шевели зря амуницию!

— Эй, Курицын, скупердяй, — покрикивал другой раз взводный. — Девки тебя любят?

Полочка губы отваливалась книзу и текла по ней слюна.

— Ги! Ги!

— А ты их?

— И я их!—гоготал Курицын.

— Гони на полбутылки: по военной словесности запрещено солдату жениться без разрешения начальства. Со-знался! Давай семитки!

— Так я ж не жанюсь?—пугался Курицын.

— Опосля женишься: это все одинаково! Вылуцивай, вылуцивай монетки!

— Господин взводный,—краснел Курицын, — мы недоста-точные... Телушку ~~он~~ тятя в деревне заводит: ему руп послали мы.

— А другой где руп?

— Какой руп?—дрожал Курицын, хватался за гашник.

— Не треплись треплом; до-ста-а-ну я у тебя тепленькие.

В марте 1917 года двенадцатый полк завел первые крас-ные знамена. И тут, в общей заварухе, проснулся раз утречком Курицын, штаны схватил, а штаны полегчали. Гашник был вспорот. Крича и плача Курицын в портках понес перед собой обнищавшие штаны, показывал, жало-вался, облапил сзади Крохоборова и на всю роту вопил:

— Отдавай деньги! Отдавай деньги!

Крохоборов скидывал его с себя, отказывался, а товарищи шарили у него в карманах, за пазухой. Потом раздели до нага, малость побили, растрясли койку, сундучок.. И был назначен над Крохоборовым товарищеский суд. В полковой канцелярии собрались представители рот—и суд открылся. Перво на перво решили посечь Крохоборова, но тут писарек, много раз сеченный в старорежимные времена, сказал:

— Республиканское отечество наше освободило заднюю часть человека от всяких наказаний, хоша бы она и была воровская...

Потом решили расстрелять, но тут вмешался Курицын:

— Какой мне роцет в расстреле? Мне тогда и денег своих не получить! Мне деньги пускай отдаст!

Писарек обрадовался и сказал:

— Чудак человек, может, приспичит как ружьями, он и выложит? Пугнуть надо! Отдашь, ежели пугнем?

Крохоборов стоял тут же.

— Не отдам! Пету у меня! Не брал я евоных рублей!

— Нустьяки говорит, — отвесил важно председатель. — Больше не у ково быть деньгам, как у ево. Я смекаю — расстрелять надо за старое за новое. С испугу он откроет воровство. Деньги хозяину. А ево все равно разложить после; не уноси адрест на тот свет. Поднимай еще раз руки! Только по одной руке поднимай. А то давеча нащитал у десятерых двадцать голосов да свои два голоса как председателя.

— Пстой, пстой, — заторопился Крохоборов, — я вот приделаю такое...

Председатель весело перебил:

— Што испужался быдто?

Крохоборов не слушал:

— Пускай я остаюсь в ворах. Глаза мои людям в глаза смотреть станут по совести, как я не вор в своих внутренних чувствах. Решать меня жизни нешто. Я бумагу выдам товарищу Курицыну, штобы отдавать ему помаленьку весь долг. Пускай, непасытный подлец, разживается, как церковной староста на чужих кровях.

Курицын запрыгал на месте и закричал:

— Личность, личность мою вор поносит, братцы! Сам вор, а других подлецами! А што касается денег, то я поднимаю

руку за придрожение вора. Конечно, чтобы павернуую отдавал под поручительство полка. В строк ежели не выплатит какую толику—к расстрелу сразу и поведем. Тогда выучим взводное!

Председатель и писарек вкочили из-за стола,—и председатель зло и резко сказал Курицыну.

— За такое выступление несознательности, тебя, сукина сына, самово надо вверх днищем. Отменяю постановление по расстрелу товарища Крохоборов!

А писарек сердито в'елся тихим голоском:

— Я инакую мысль имею. Товарищ Курицын объявил себя самым што ни па ось егопстом. За деньги продас свово брата, как непотребную ему и старую одежду. Он проигрывает следственно расстрельный кон. Оставляем жизнь Крохоборову. Того пуце с деньгам. Усомпеваюсь я в краже. Виповат он ясно и без доказательства, как ни па ково другово рта не думает. Ежели платить деньги товарищу Курицыну, не было б ошибки? В наказанье же худому нашему товарищу Крохоборову провести его по всем ротам вором.

Суд зашумел. Закачались столы, заерзали стулья...

— А верно ведь, братцы!

— Здорово!

— Принимать! Принимать!

— Всем, до единого голоса!

Только один Курицын кричал:

— Плакали мои денежки! Трудовые! Накопленные! Недооденные. Товарищи, братцы! К расстрелу бы тогда? Лучше бы к расстрелу? Ему одна потеха тако наказанье! Эт не-ж-то суд?



Крохоборова, опустившего низко и горько голову, подвели к председателю. Тот серьезно и грустно взял мел и написал крупно и жирно на груди и на спине:

„ВОР 12-го ПОЛКА“.

И Крохоборова толкнули вперед.

Вводя в роты, председатель громко провозглашал:

— Вот, товарищи, вор 12-го полка.

Роты застыли и молчали. Крохоборов вынес только три роты. В четвертой роте он остановился и, отчаянно, как прокололи его насквозь, зарыдал:

— Вешайте меня! На куски рубите! Не пойду!

И он, будто кипяток клокотал под одеждой, бешено скинул с себя шаль и бросил ее на пол, сорвал курточку, рубаху. Белое, пагое тело мелко и часто дрожало.

— А не будешь воровать?—сказал председатель.

— Я не вор, я не вор!—плакал Крохоборов. — Убейте меня! Не пойду дальше! Ошибка, товарищи!

И Крохоборов, взрыдав еще раз, бросился бежать.

Через три недели Курицын нашел вора. Пришел он на почту с письмом тятю на деревню о беде своей, а писарек деньги подает в окошечко по переводу. Подглядел он, как выкладывал писарек белые рубли и выложил тридцать кружочков. Схватил он писарька за пиворот и крикнул:

— Созна-а-вайся, бумага?

Писарек просмеялся, проблеял жалобно, отодвинул рукавом серебро в сторонку, другой человек уже подавал в окошечко свой перевод—и молча со счетом передал рубли Курицыну. Они вместе пошли.

— Бабе... на обзаведенье... в деревню послать хотел,— лепетал писарек, попрыгивая около Курицына. — А ты и накрыл! Прости ты меня, добрый товарищ Курицын! Ухорони от товарищей виду мою! Сдохла у меня лошадь в хозяйстве Зарез мне пришел.

Курицын молчал. Потом вдруг остановился и остановил писарька. Курицын подумал, огляделся по сторонам, замахнулся и сказал:

— А я должён тебе дать в ухо за все?

Писарек обрадовался:

— Да дай, да дай мне, животине!

Курицын, прикусив губу, тяжело хлопнул его кулаком, спиё с ног и заступил на земле сапогом, ворча и скрежеща зубами. Начал останавливаться народ, но писарек уже вскочил и недовольно забормотал:

— Проходи, проходи, ротозей! Мы это по-свойски! По разику ходили! И его допреж того долбанул... в самое сердце... Он мне теперешний раз в отдачу.

Они вместе зашли в чайную и Курицын угощал писарька с находкой из белого чайника денатуратом.

Снова собрался товарищеский суд двенадцатого полка. Молча, тихо, не шевелясь, сидели те же судьи в полковой канцелярии: поджидали Крохоборова. Писарек вертелся около Курицына, и что-то нашептывал ему на ухо. А тот не спеша и рассеянно жевал хлеб, отламывая маленькими кусочками от черствой корки. Когда вошел Крохоборов, председатель поднялся и сказал:

— Извини нас, товарищ Крохоборов, а этого гадоку...

И он тынул пальцем, будто стальным почерневшим штыком на писарька, а в другой руке протянул Крохоборову револьвер.

— Поди, убей его...

Председатель оглянулся на товарищей и выкрикнул:

— Ладно я говорю, ребята?

Судьи молча кивнули головами.

— Да!—добавил председатель.

Писарек обмер и приложил маленькую руку на горло себе...

Курицын втянулся в плечи, пугливо отходя от писарька. Крохоборов шатнулся, вдруг пискнул и в ярости, вырвав у председателя револьвер, нальнул раз-другой в писарька. Тот лег бездыханным на черный пол.

С Курицына присудили десять рублей бабе писарька на сдохшую лошадь.

## А Н Н У Ш К А

Аннушка Оглядкова была веселая и разбитная бабенка. И шла худая слава о веселом человеке сперва в деревне, потом в городке. А в городок она пришла по бедности. Мужик у нее плотничал, оборвался со сруба и захромал на обе ноги. От недуга посадил его подрядчик на земляную тёску дерева, не везде годен—и цена другая. Из первой руки в третью угодил Петруха Оглядков по снижению здоровья. Аннушка в город потекла в прислужницы.

Вдвоем с трудом вырабатывали на крестьянство, на ребятишек с бабкой да с дедком. Хозяйство оставлять деревенскому мужику тяжелее, чем из деревни на заработки уходить.

Хохочет Аннушка, полощет зубы, не стесняется озорного слова, будто девка, с парнями в пляс, в крик, в шум. И пет будто в деревне Большие Кочки и в ближних селах ни одного человека, с кем бы Аннушка обошлась суровее милого дружка Петрухи. Говорить и стали о ребятишках: один от Петрухи, другой от Ваньки, третий от церковного старосты Евстигнея. И про тех слава идет. Бабы им в волосы. Отказываются—и хохочут. Баб своих к себе пуще приваживают. Почётно лишнее женское сердце привязать: баба своя любить больше станет.

— Полохалы вы,—смеется Аннушка бабам.—Да я разве свою Петруху на ваших лошадей променяю? Он у меня

хромешкой, а любой! Слава мне пустяки. Не ославишь меня, когда дупца у меня чище хрустало, из снежинок она чистых, а зубы у меня, веселые. Вот и все. И больше ничего!

Поидет Аннушка по деревне легкой своей, каблучками наступкивает, походкой, сарафан из озорства подбирает выше, чем поднимают.

— Ей, Евстигней ротозей!—кричит—дразнит.—Держи бабу на возже! Дитей у меня твоих отбирает! Своих недостаца? Пятерых мало? Ей, Ванька-ветапька! Давно мы с тобой в лужках кислицы не собирали?

— Поди ты, вертунья!—смеются Евстигней с Ванькой.— Не кипяти здря баб! Ума у них меньше твоево. Тяпешь себе на голову мерёжу. Шуты—шуты—и нашутинься на свою голову.

И так это ласково, обоюдно грохочут на улице у телег, у андрцов, у кос, завидуют Петрухе на радостную его бабу.

Не любят бабы Больших Кочек Аннушку, зовут пусто-смешкой и боятся, распускают про нее были-небылицы, остерегают мужей.

В городку переходила Аннушка от одного хозяина к другому; милое круглое лицо в ямочках было не по сердцу желтым и белым хозяйкиным лицам, смелая прислужница не любя—и стоят за нее горой хозяева. Отказывают хозяйки. А в другом месте засмеет лукавым смехом хозяина, он глазищи вынытит да и шастанет к ней ночью. Встретит она его ухватом или скалкой, перебудит весь дом. На утро расчет от мужвинных каверз. Городинко маленький. В одном конце крикнут, в другом отдается. Большие Кочки

в двадцати верстах. С субботы на воскресенье кобылкой трусила Аннушка к ребятишкам. Выходной день завелся от советской власти во всех городках. Нарушили бы да надсмотрщики верные. Пользы от них другой мало, выходной день блюли. Перешокала весь городок. Не умела переменить привычки к балагурству и к завлеканию чело- веков.

— Ты бы, Аннушка, потише,—говорил Петруха—я то не усумнюсь... А вред большой—язык твой. Што язык, што волос!

И расславили Аннушку по городку, как и в Больших Кочках. Не берут в дома. Другие города далеко и бесподручно от ребят оторваться: для них только востроглазых и жизни!

В одном скудельном домике жили три старые девы, пять кошек, шесть кобелей, комнатный индюк, гусь и св. И те слышали про Аннушку. Безопасный дом, а привередливый. Старые девы в училищах учительствуют. Идут с запятый мимо лавочки, брюками торгуют, выставлены за стеклышками фасонные брюки, краснеют и отворачиваются от мужского соблазну. А за скотом ходить некому. Они Аннушке не в пошрёк, а и говорят:

— Принеси удостоверение из деревни. И мы спокойны, и город перестанет судачить, и скот наш будет обласкан. Бегут от нас прислужницы. Не любят бедных птичек, кобельков и копечек. Тебе деваться некуда. Все дома на заноре. А мы возьмем на непытальне.

И старые девы ласково обступили Аннушку. И стояла она промеж них, черных, непитых, жухлых, будто маленький кустик шиновника.

— Принесу,—просмеялась Аннушка.—И о здоровье своем принесу, ежели брезгаете!

— Нет,—говорят,—о здоровье не надо! Здоровье само за себя рапортует. Щека-то, щека-то какая розовеющая! Бока-то какие налитущие!

Старые девы, как курицу, выщупали Аннушку. Она от щекотки зашлась хохотом,—и зазвонило в старых часах в скудельном доме само собой, кобельки залаяли, индюк затрепыхал красной кистью под губой.

Аннушка прискакала в деревню Большие Кочки к сельскому исполнителю Семену Огневу за пужной бумажкой. Тот бороду закрыл лапой и головой качает.

— По какому такому случаю дам я бумагу неправильную?

— Как неправильную?

— А так. С Евстигнеем жила? С Ванькой жила? Еще с кем, дай припомнить!

— Да к ты што головой треснул? Бабьи подола не хвасть?

— Не жила скажешь с пономарем? Похвалялся он тут в Покров. В городе сколько мужей оставила?

— Ты при свидетелях не отопрешься!—рассерчала Аннушка.—Слова эти сказать?

Семен Огнев рассмеялся.

— Отопрись. Я не дохтур, с кем ты там кувыркалась узнавать! Бумаги же не будет. Не уверен я в своей власти выдавать напраслины.

— Такой степенный мужик ты, Семен!—задумчиво и горько ответила Аннушка.—Свой деревенский, а дурак валеной-пареной!

— А ты таскушка!

Аннушка даже всплакнула, а Семен Огнев ей на поход: — Ваня сестра завсегда оплакивают блуд. Не уберегут стыд, опосля волосья длинные вытаскивают — конской хвост!

Ходила—ходила Аннушка: ни в какую. Семен Огнев как отвод—скрипит на ветру, а не отворяется, не мычит—но телится.

Аннушка на обман. Разожгла мужика. Пододвинулась к мохнатуму уху раз, прихватила зубками жирную волосатую мочку, мужику не повернуться, обвила шею и в глаза глядит.

— Ну, чево там?—скраспел довольный мужик.—Какал у тебя дьявольщина на уме? Выкладывай!

— Люб ты мне за крепость; Семен!—шепчет Аннушка.—Полонил меня! Обижаешь, а мне хоть побои от тебя! Первого мужика такого встречаю. Всё я была наверху, а теперь я под тобой. Слюбимся?

Семен Огнев боязливо и трусливо поглядел на двери из избы. Охватил ее за спину и бормочет:

— Краля, хто бы не вошел?

— Ты постой,—отвела Аннушка тяжелую руку,—не так скоро! Приходи полночью ко мне в сеновал. Сёмушка, только напиши бумажку! Есть нам станóвится нечего: без места нам не обойтись! По праздникам и будем миловаться! Без зову и ходи в сеновальчик. Твое же хозяйство не хочю зорить. Не приму от тебя никаких подарков. Любовь моя чистая и первая к такому покорителю моему!

— От ты какая замысловатая, Аннушка!—удивился Семен Огнев.

Аннушка влипла ему в губы, дагнула их и оторвала.



— Будто спичка черкнула!—подобрел мужик,—искорки высекла! Чудно—хорошо!

Прощаясь у дверей, Аннушка ласкалась к нему:

— Первой и, единственной от тебя подарочек-бумажка и будет! И принеси ее в первый раз любви! Бумажка то мне и детям—хлеб! Подарка дороже нет!

— Принесу,—отшентывал Семен Огнев.—Беспременно буду в сеновальчике. Закружила ты меня, будто Евстигнея. Волос растет в мозгу. Не вижу ничего, окромя похоти! Ядруньюшка моя! Да уж не подкинули ли тебя к тусклым нашим бабам на деревню в Большие Кочки? Липка! Липка!

— Погоди, то ли будет!—ожгла и убежала.

Семен Огнев долго писал бумажку: не выходило. Он жалел бумагу. На маленьком лоскуточке он применялся и вкривь и вкось, укладывая смысл. Вспотелый, умученный, наконец, он задумался, натёр печать о сажу в устье печки и переписал составленное им на другой чистый лоскуток.

Задами прокрался Семен к Аннушкину сеновалу и нес в зажатой руке подарок.

— Сёмушка, это ты?—позвала Аннушка, как дотронулся он до ворот.—Жду, бородка моя кужлявенькая!

Семен Огнев юркнул между полотниц и попятился взад.

Аннушка сидела на сене. Рядом с ней стоял фонарь с баньным светцом—к коровам на назём ходить.

— Для ча фонарь?—испугался он.

Аннушка засмеялась.

— А не для ча! А для того, штобы нагрнет кто, вон и пестерек принесла, было похоже—за сеном пришла. Тесе же в любом месте в сене укрышка...

— Умишко - то, умишко какой! — воскликнул Семен Огнев, валя бабу на сено.

— Жди, жди,—ласково поосторонилась Аннушка.—Перво-на-перво испытанье тебе: сдержал ли слово обещанное?

— Па, на, моя красавушка, да я тебе всю каршелярию мою выдам за один обним!

Семен Огнев сунул ей бумажку за пазуху и захватил крепко грудь.

— Не все, не все,—веселилась Аннушка,—мы падолго связываем себе руки и ноги. Проверить любовь твою надо. Мало снег в школу мяла, а осилю твое письмецо. Вгляжусь в него вкрадчивыми глазоньками.

Аннушка внимательно читала, шепча себе слова. Семен Огнев приткнулся к ней, гладил плотно сжатые ноги и растерянно и воровато растегивал жаркий пиджак.

— Буква эта „ны“, а это „мы“?—говорила Аннушка.— Так, так! Дело! Хорошо написал!

Аннушка засунула глубоко смятую бумажку за пазуху, вскочила на ноги и описала фонарем дугу над головой Семена Огнева. И звонко, как ударили в сторожевой деревенским противень, лязгнула:

— А теперь, Петруха, выходи!

Семен Огнев опрокинулся на сене и пополз. Петруха Оглядков быстро вылез из угла, встряхнулся от сена и загрозил:

— Мы, Семен Иванович, по плотницкой части к топорю привычны! К-а-к вот тукну тебя по глупейшей башке за измывательство над бабой! Становись во фронт, обдуроченный бык!

Петруха, под хохот Аннушки, наступал на Семена Огнева с топором, прихрамывая и раскачиваясь.

Семен Иванович, кидаясь к воротам, отворил их головой и застучал по молчаливой земле сапожищами.

Петруха выковылял за ним, загремел-обухом по железной накладке запора и закричал в догонку, колебля, как тонкую наволоку, мглу:

— Руки обрублю напрочь! На мясо положу! Держи—и—держи—и его!

Семён Огнев упрыгнул. Оглядковы дружно и нежно обнялись, смеясь, посидели в сеновале у тихого фонаря, прочитали заново дорогую бумажку, а потом Аннушка устало зазевала. И зевая, а он ее подталкивал в бок, долго тянула:

— Петруша, не к снанию ли час?

И потушила фонарь, опрокинув его и мотнув.

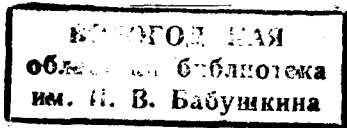
Провожал Петруха Аннушку в город, неся за поясом топор и взвалив на спину мешок с вещичками.

Старые девы приняла озорную прислужницу. В скудельном домике долго хранилось каракульное удостоверение с черной печатью:

„Настоящим удостоверением дано гражданке деревни Больших Кочек Аннушке Оглядковой о том, што она до настоящие поры, так и в настоящие осень, живет с мужем и никаким пустякам не занимается, што и удостоверяет сель-исполнитель деревни Больших Кочек

Семен Огнев“.

1083677



## КИНОС'ЕМЩИКИ.

Милиционер Пучков стоял на посту против банка. Пригнали раз в самый банковский разгар около двух часов дня три автомобиля. Два встали у самого входа, а третий по другой стороне улицы. Была на нем какая-то машина, вроде фонаря с ручкой. Покуда вылезали человек десять с двух автомобилей, выскочил от фонаря маленький юркий человечек, подбежал к Пучкову, сунул ему бумагу и сказал:

— Товарищ милиционер, вот вам отношение из Госкино. Нам необходимо произвести кинос'емку. Для вас будет много неожиданного. Не смущайтесь! Так нужно по программе. Будут бегать люди. Будут выстрелы. Крики. Так пожалуйста, вы не допускайте близко публику, чтобы кто-нибудь не пострадал! Отношение сохраните у себя для отчета по начальству.

Пучков начал просить прохожих:

— Граждане, не толпиться на панелях! Проходите! Будет стрельба! Снимка для кино. Не переходить, не переходить дорогу! Дядюшка, дядюшка, обратно, друг. Обожди! Эй! Папиросница, куда? Патент есть?

— Начина-а-ем!—крикнул юркий человечек, подсел к фонарю, завертел ручку и махнул рукой к под'езду.

Туда вошли приехавшие на автомобилях и прикрыли дверь. И сразу загудела тревожная сигнализация из банка.

— Весело! Весело! — кричал кинос'емщик, накручивая ручку.

Пучков осаживал публику.

— Да нарочно, нарочно для с'емки тревога! Трусите, трусите, граждане! То ли еще произойдет! Мовет и\*ранить! Ходи, ходи, товарищ женщина. В Кализее гляди потом. Чево задарма глядеть!

Огромное зеркальное окно вдруг рухнуло с третьего этажа, засыпая зеленоватой стеклянной крупой мостовую. Будто свалилась с крыши весенняя сосулька и уложила землю мелкими ледяшками. В пролом выкинулся до пояса перепуганный человек и взревел один раз:

— Гра-а-а-бят!

Его кто-то вдернул обратно. И пальнули раз — другой глухие револьверные рывки.

Кинос'емщик засмеялся.

— Натурально! — воскликнул Пучков. — Стекло в театре окупится!

— С лихвой! Десять тысяч ассигновано Госкино на эту с'емку! Отойдите, товарищ, подальше! Вы закрываете мне поле действия. Я вас уже заснял. Не подпускайте, не подпускайте публику! Какое глупое любопытство! Люди работают, они тут развлекают, снуют!..

— Честью говори, не понимают! — кричал Пучков. — Ругаться начнешь — оскорбление личности! Проваливайте, проваливайте!

Пучков поворачивал извозчиков, ломовиков, автомобили, осаживал густо набиравшуюся публику. Шофферы сидели с трубочками и держались за рули.

В банке была тишина. Кинос'емщик придержал ручку. Сигнализация смолкла.

Немного погоды из банка начали выносить какие-то не-

большие мешочки и кидали в кузова автомобилей. Кинос'емщик опять весело застрекотал ручкой.

— Очистите дорогу!—кричал он милиционеру.—Скоро поедem! Надо торопиться к другому банку!

Пучков послушно и суетливо делал проход в публике.

— Шире, шире! На себя судачьте — задавят! У них машина заряжена на время! Может остынуть. Погонят!

И вслед за этим из под'езда выскочил знакомый кассир с разорванной манишкой, в красных чернилах на щеке, с портфелем...

— Пучков!—рявкнул он.

Его схватили выбежавшие за ним люди, закутали голову черным платком, смяли на панели и втоптали назад. За толстым портфелем, упавшим на панель, выпрыгнул один шоффер и лениво швырнул его на подушки.

— Это номерок! Это номерок! — веселился кинос'емщик, звякая ручкой.

— Ка-ак кассир-то взревел? Што те ахтер!—шутил Пучков.—А я и не знал—будет представление!

— Да,—радостно отвечал кинос'емщик,—эта фильма будет иметь успех. Ребята очень сыгрались. Настоящее ограбление банка.

— Кассир-то и морду в чернила выкрасил! — ойкнул Пучков.

— Нельзя иначе! Мы должны дать вполне реальную обстановку. Здесь наружный вид ограбления. В другом районе работают кинос'емщики внутри. Отсюда поедem ставить сцену после ограбления.

Публика все накапливалась и накапливалась. Пучков торкался, торкался в стороны, серчал и не мог справиться.

Тогда киносе́мщик, поворачивая фонарь на публику, закричал:

— Товарищи, я прошу вас отойти на тот уголок. За одно я вас всех сниму. Вблизи нельзя угадать правильный фокус. Снимок будет валиться. Пожалуйста!

Народ загоготал, опрокинулся назад, побежал, киносе́мщик заторопился с ручкой.

Пучков легко отгонял немногих оставшихся. Вертлявый человек вытирал пот со лба.

В разбитом окошке показались двое из приехавших и гаркнули вниз:

— Готово! Сейчас выходим. Снимай последний выход!

— Даешь!—ответил киносе́мщик.

— О, здорово!— шумел улыбавшийся Пучков. — Как по расписанию поезда!

— Да! Фильма заряжена на определенный отрезок времени. Один оборот ручки нельзя повернуть зря! Мыла кусок, три копейки брусок!

И они дружественно засмеялись.

Народ опять торопливо подвигался к фонарю. Тут, не спеша, вышли с портфелями товарищи киносе́мщика, уселись в автомобили, один повернул на дверях плакат с надписью „Банк закрыт“, юркий человек разок подребезжал ручкой, накинул на аппарат тугой черный футляр, шихнул на обшлаг Пучкову белый конвертик—и машины кинулись гуськом, заиграв на рожках тревогу.

— Будем знакомы!—выкрикнул человек у фонаря.—Берегите билеты в кино!

Автомобили ушли. Покружилась пыль, будто сейчас тут выбивали ковры, и стала садиться. Народ расходился...

Пучков вытащил с улыбкой из-за обшлага конвертик — и обомлел. В конверте была пачка червонцев. Он перемуслял пачку и насчитал двадцать красноглазых белячков. И еще больше повеселел Пучков. Он спрятал деньги в карман и сладко задумался на дороге.

Тогда один—другой, крадучись, начали выглядывать люди из пустого окна.

— Окончено все: уехали!—махнул Пучков.

Банк ожил. С грохотом отбросилась дверь входа и, галдя, и крича, посыпал народ.

— Где? Куда? Что? Милицию! Чека!

Пучков, похохатывая, ходил против банка.

— Дурак! Идиот!—вопил народ, показывая на Пучкова.— Налетчики! Бандиты! Убийство!

Его потащили внутрь. В вестибюле он увидел, как перерезали ножницами веревки на двух связанных милиционерах, и около них валялись тряпки, вынутые из рта. А рядом лежал и кровоточил щекой кассир. Он был без памяти, бледен и неподвижен.

— Доктора! Доктора! Директора убили.

— Он выбил окно!

— Наповал!

Тут только Пучков будто понял. Опустив глаза, изруганный, издерганный, сунув всем бумагу из Госкино, не веря, он метнулся, скача через ступени, наверх, осел около убитого директора, поднятого на прилавочек к решетчатой кассе— и заплакал над собой.

Долго допрашивали Пучкова, сажали в тюрьму—и обманутый санигривь записался безработным на бирже.

А деньги он утаил, зарыв в цветочный горшок с повялой



фуксией, выкинутый соседями за пенадобностью в темный коридор за сундук и там забытый.

Трудные безхлебные дни пришли скоро. Вынул он из укромного места первый червонец и подал своей бабе. А та скоро прибежала испуганная и горестная:

— Васенька! Червонец-то фальшивой! Не берут нигде! Смеются! В одном местечке погрозили!

Испробовали в разных местах червонцы. Ездил Пучков из одного района в другой и менял. Баба промышляла по мелким торговкам на толчках.

Спустили пять червонцев. И невдомек было: ползали по пятам за ними агенты Мура. На шестом разменном червонце Пучкова взяли, унесли горшок с остальным фальшивым добром,—и сел снегирь на казенное довольствие в губтютю.

## В Ы Д А Л И

В народном суде под красным обтрепанным сукном стоял ветхий стол. За столом сидел старый судья, а по бокам громоздились в шинелях два красноармейца — народные заседатели. Один красноармеец часто и беспокойно обращался к судье с одними и теми же словами:

— Дозвольте задать вопрос?

И грузно поднимаясь, качая егозливо стол, становился во фронт. Судья тащил его за рукав и усаживал. И красному ему что-то шептал на ухо. На скамьях будущие обвиняемые, свидетели, любопытные ласково усмехались. Солдат спрашивал уже сидя, но он скоро забывал свое важное сидячее звание и по привычке опять вставал. И от того, что солдат был забывчив, в народном суде было просто, легко, семейно. Будто собрались в густую люди потолковать о каком-то неспорном и тихом домашнем деле, заговорились, вечер погасил свет в окнах, и уже желтый огонь подistolком загорелся в пыльном стеклянном яйце.

Судья устало облокотился на стол. Перед ним стояли близко друг к другу деревенские парень, девушка и мальчонка.

Судья допрашивал мальчика.

— Вы знаете, гражданин-свидетель, Пыжова?

Мальчик ухмыльнулся и фыркнул.

— А как же не знать? Знаю. Суседи будем. Мы Никитины, а оне Пыжовы. Крестной он мне!

И вдруг мальчик боязливо и тревожно воскликнул:

— А тебе на што?

Судья закрыл ладонью глаза и трудно сказал дальше:

— Видели вы Пыжова в день преступления?

Никитин молчал, опуская голову.

— Вы понимаете вопрос?

Мальчик обиженно встряхнул лохмачами волос и засмеялся.

— А чево не понимать-то? Нешто я дурак? Вестимо видел, коли застал с Машкой.

Пыжов стоял красный, уставившись на темневшую бахрому сукна. Он только вздыхал и вслушивался в голоса. Машка сердито косилась на него.

— Вы расскажите нам, как было дело, — не торопился судья, не спеша разглядывая перед собой истасканные, грязные от клякс и каракуль бумаги.

Мальчик сгинулся на скамейки:

— Зазорно больно рассказывать-то! Народищу сколько! Вытурить бы к чорту! Чево пришли на посмешище? Им в забаву, а нам—срам.

— Гражданин-свидетель,—онячь из-под ладони протянул, будто сердясь, судья и удержал за обшлаг солдата, порывившего встать,—рассказывайте нам, не стесняясь ничего, всю правду.

— Мне што,—серьезно пробурчал мальчик,—не я испортил Машку, а Стенка. Врать мне не пошто, а только пехорошо перед народом... Да по-вашему я и не знаю, как надо по

порядку рассказывать—и себя бы не ввалить, и Машке не обидно, и Стенку не засудили!

— Ну, я вам помогу, — раздобред судья. — Вы слышали о любви между гражданкой Сизовой и Пыжовым?

— Знамо слышали!

— А что вы слышали?

— А што Стенка Машку беспрременно испортит. Он у нас давно по девкам идет...

— Так. А как вы их застали? Вот пострадавшая говорит, что гражданин Пыжов принудил ее, насильно овладел ею, хотел жениться, а потом бросил? Что вы можете сказать нам?

— А што говорить-то... Иду я с пестерем в гуменник... а у гуменника Степка с Машкой лежат на соломе... Потом почали барахтаться...

— Хорошо. Когда вы подходили к ним, звала ли Сизова на помощь? Кричала она?

— Здорово кричала!

— А что она кричала?

— Отойди, кричит, Васька, не мешай! Тебе опосля! Подрастай, знай!

Машка горько захныкала, Пыжов еще ниже наклонил голову, а мальчонка, отдирая руки от машкиных глаз, нежно и дряжа голосенком, просил:

— Не сердись, Машуха, правду же велел говорить дяденька: я не при чем тут! Полтинник я те обратно отдам!

Тут вдруг вскочил из-за стола забывчивый солдат, выткнулся во фронт багровый, большой, протянул перед собой кулачище и закричал:

— Курва ты, Машка, миня на Стенку сминала да еще и парнишка сомущать, Ваську! Товарищ судья, оправдываем

Пыжова на чистую, а Машку на черную доску за скоромное поведенье!

Судья не успел его схватить за шинель.

— Товарищи милые, — взвыла Машка, садясь на пол и охватывая голову руками, — мне жениха надо, а женихи обманывают! Сперва растерзают, а потом латыты!.. И заседатель так обманул, и до него двое, и Степка последний. Убейте меня, не пойду на черную доску!

---

## ЗА ШКАФОМ

— Виссарион Иванович, я тебя пропишу на мою площадь. Сам я жить не стану. Только для отвода глаз иногда почую у тебя. Пускай домоуправление числит комнату за мной. Я добыл себе квартирешку через союз. Однако, на случай, и это убежище не помешает!

Виссарион Иванович Бугорков до того переходил по ночевкам от одних знакомых к другим. И всем был в тягость. В последнее время не открывали дверей на звонок. И он ночевал на бульварах, чутко дремля по скамейкам. Он нарочно засиживался на службе, похрапывая на ворохах разложенных по столу рукописей. И вот пришло освобождение.

Комната была белая, светлая, большая. Виссарион Иванович зажил, забывая недавнее.

Домоуправление год спустя догадалось. Выписали Сергея Антоновича Лохматочкина—настоящего с'емщика, заплатили домоуправлению и тот и этот легкую дань—и переселили тогда Виссариона Ивановича вторым жильцом в комнатку милиционера Гракова. Стало похуже, а ничего. Спигирь редко почевал дома, а ночевал—вместе пили чай и дружили. Разлад начался из-за баб. Привел спигирь бабу, выпили, зал'ятели... Полночь подкатилась, баба начала раздеваться. Тут Виссарион Иванович не выдержал:

— Слушай, Граков, я протестую! Я не позволю!

Полаялись немного. Баба смиреннько потянула на себя кофчопку, кинула с вешалки шпнель Гракову—и они ушли.

Зачастили к снигирю бабы. И все смелее и злее он стал.

— Я приведу бабу — и ты веди себе бабу! А то одну. Маруська, согласна?—шумел Граков.

— Обпаковешпо!—отвечала Маруська. — Кидай жеребий! Мне выпимать!

Виссарион Иванович не поддавался—и гнал их. Они уже больше не пили вместе чай.

Виссарион Иванович переставил на середину комнаты свой платяной шкаф, потянул веревочку от окна до стены и завесился запавеской. Граков захохотал. И первую ночь не послушался Виссариона Ивановича.

— Эй Бугорков, — кричал он в темноте, — заткни уши! Полезай под подушку!

И Маруська хохотала, шлепая себя по голому телу.

— Ворочай шкаф на прежнее место—опять твоя наверху. А теперь мы каждый на своей жилищади. Захочу вскочу, захочу выскочу! Маруська, единоутробная, поворачивай ему пагую спицу в смехи!

Виссарион Иванович жаловался в домоуправление. Не помогло.

— Ну к што баба?—сказал председатель рабочей фракции.— Поди, в каждой квартире не одна баба находится. Чудаки! Этак спокою никому не будет, ежели по квартирам лазить станем. Своим согласнем соглашайтесь! Мы не облава. Граков в милиции служит. Нам на рабоче-крестьянского парня не рука жалиться! Брось, товарищ Бугорков, благородство! Чево

право! Не женской элемент, чтобы канфузом заливаться! Не мешай человеку функцию свою тешить по медицинскому закону! И тебе понадобится, он не кыркнет. Дело выеденного янца не стоит. На собрание общее вопрос поставишь, тебя ж засмеют! Дом у нас простой: ты один из прежнего духовного звалья! Тебя ж заголосуют. И прав, а заголосуют: опиум леригии в тебе интернационал под себя подожмет! Ты нашему уму чужестранец и бывший враг!

Виссариион Иванович служил секретарем редакции большого советского журнала. Редактор посмеялся и тоже сказал:

— Безобразие, конечно! Но суды завалены такой ерундой! Тут одного судили. Он возмущенно и обиженно доказывал, что имеет полное право вонять на своей площади!

Виссариион Иванович терпел. Граков прятался от него трезвый, а пьяный приходил всегда сам-друг.

— Я в суд на тебя подам!—уже кричал Бугорков.

— Подавай. Докажи, жеребьячью твою в трензели душу! Сс-с-с-волочь! Лови, лови!

И Граков кидал в шкаф Виссарииона Ивановича салоги, лез на него в драку, а баба подступала со стороны, заглядывая к нему за завеску.

Вдруг Граков остепенился. Пришел домой рано, трезвый походил на своей половине, кашлянул и негромко сказал:

— Товарищ Бугорков, разговор имею... Выйди!

И поговорили. Клялся характер переменишь. Выпили чайку.

Пришел раз Виссариион Иванович, глядит шкаф задвинут на прежнее место, в угол, вырваны гвоздики, а пестрая занавеска на окошко подвешена. Граков весело угостил его яблоком и дружественно сказал:



— Это я срам мой изничтожил! В глаз мне тыкал. Раз одне мужчины покоятся в комнатухе, бельмо на глаза и не к чему. Совсемо самому себя. И глаза у нас на улице теперь в ситцевых очках. К дьяволу несознательные контры промежду кварталантов. Ну, как, голосуешь?

— Ладно,—буркнул Виссарион Иванович.

Поехал Бугорков вскоре в отпуск. Вернулся через месяц, дернул дверь в комнату, заперто изнутри.

— Ково там дёргает?—спросила какая-то женщина.

— Это я... Бугорков... Откройте!

— Кто такой Бугорков?

— Жилец. Другой жилец.

— Никаково другого жильца. Я другой жилец. Не туда стучишь. Разомкни глаза-то. Молодежены тут живут Граковы. Ошибился дверям.

Поглядел Виссарион Иванович, а в полутемном коридорчике свален был на бок шкаф его, свернута стоймя кровать и корзинка привязана полотенцем к ней, будто хотели через плечо унести их да не успели. Бугорков осветил коридорчик спичкой. На шкафу лежал под густой пылью портрет его отца, а в серединке, в раздробленном звездой стекле, стоял примус, натекший в рамку желтыми пятнами керосина. Голова отца будто плавала и высовывалась кверху, чтобы не захлебнуться. Виссарион Иванович покраснел, задохнулся, швырнул свой ручной багаж на пол рядом со шкафом...

В то же время сам Граков заколотил в двери:

— Товарищ Бугорков! Слышь, што ли? Извини, брат, а я женился! Крой в другое помещение! С моей женкой ты и разговаривал. Не Маруська, а через закс!

Женщина, громко засмеялась.

— Скарб твой цел — целешенек, — продолжал спигирь. — Я досматривал. Скажи спасибо. Не открываю тебе парашю. Держу в рукаве паган и за себя не ручаюсь, когда характерами разоидемя. По за дверям — обоим сердцам загородка! Не смутьянь, а иди... И к тому же опять извини! Сам должен понимать теперь стыд моей бабы при лишнем человеке в медовых положениях! Обстроишься, приходи чаевничать!

Виссарион Иванович, негодуя и дрожа, сбил домоуправление.

Председатель рабочей фракции сердился:

— Скандальной вы, товарищ Вугорков, как же вам не совесно разлучать мужа с женой? Можно сказать промеж их третий лежит. Смущение! Других местов у нас нет в доме. Разве вот одна старушка живет в подвале, ветошь подбирает в помойках и мусор разной, да конура у нее без двух аршин полторы сажени? Поди сговорись — и приходи. Мы утеснять не станем вас. И плата на два раза дешевле. Боле на одежду оставаться будет. Старушка хоть и запойная, а ничего, незаметно плохого. Песни поет в заной и пляшет под гармонью. Племяш к ней ломовик ходит, гармонист... обживетесь! Гракова бередить не пошто!

— Милицию! Милицию! — кричал Виссарион Иванович. — Протокол! Это разбой! Убирайтесь вы к чорту с вашей старушкой.

Председатель рабочей фракции освирепел:

— Мошештвом в'ехал, а рот открывать! Засужу! Засужу! Партийного пролетария послал ко всем чертям! Не моги, це моги! Кажн свою платформу! Открывай поповское званье! Опиум! Эксплататоры трудовых героев! Да во мне,

да во мне ты, буржуазная крысоловка, кровь гнева насосом поднимаешь к роту. Нет тебе жительствоваания в нашем народно-рабочем жил-товариществе!

Виссарион Иванович простонал, безмолвно поглядел, молча снял пальто, вынул ключ из дверей, швырнул со стола домовые книги, оборвал со стен объявления и вдруг закричал:

— Видите! Видите! Убирайтесь вон из моей комнаты! Я остаюсь здесь! Я не уйду, куда мне не дадут помещения! Зовите милицию! Мне некуда деваться! Я в тюрьму хочу, я в тюрьму хочу!

И он застучал кулаком по столу:

— Я к Камневу пойду! К Калинину! Я в большой Солнарком!

Они схватили друг друга за руки и долго стояли вебшепные, упрямые, охрипшие от брани.

Через два часа, после заседания рабочей фракции, с пожитыми, с домовою книгою, с портфелями, поднялись к молодожнам. Виссарион Иванович захватил с собою ключ от домоуправления.

— Где такой замок?—вопил Граков.—Я все законы знаю по милиции. Мыслимо ли мужу и жене иметь соглядатая? Я не девку привел на кровать. Вот бумаги у нас: жена и муж по пролетарскому факту! Да я его пристрелить могу, ежли с бабой моею што замечу! Кто мне ее стеречь ставет? А? А ежли он свасильничает?

— Тьфу! Тьфу! — плевалась молодая.—Што городит, леший! Страмит как! Заткнись, заткнись—не то мелешь!

И она осматривала рыжето и некрасивого Бугоркова. У того дрожали ноги и руки, и был он бледен, как стоявший на столе фарфоровый чайник.

— По долгому размышлению, — твердил председатель рабочей фракции, — хоша Бугорков не товарищ советского строя, а только лишь подмоченный гражданин, буян и скандальный буржуй, жить однако ему в твоей комнате, товарищ Граков. Никто тебе жениться на чужой площади не велел. Ему нету никаких делов один ты али вдвоём. Он тя за свои вещи, как раскидал ты его добро на бесполезной площади пола, взгреть может, будто ты его ограбил на большой дороге, али насильно женил на своей бабе! Пускай его безо всяких!

Председатель рабочей фракции повернулся к Виссариону Ивановичу и зло сказал:

— А ты боле не выходи отселева! Тащить будет, упирайся! К тому же он и ответит тогда: тебе вся и его площадь попадет!

— Я не уйду, — крепко сказал Бугорков.

— Как не уйдешь? — взревел Граков. — Да я, да я тебя изувечу! Да мы тебя с бабой моей на трубе повесим! Да мы тебе дно вышибем из некоторого места! Насильственная твоя личность! Нахрапщик! Налетчик! Подгрыза!

— Товарищи, я прошу записать эти слова в протокол, — опять крепко сказал Бугорков.

Потные, усталые, накурив в комнатухе до серого угарного пара, будто в бане безостановочно плескали шайками в зев раскаленной каменки, и она дышала густыми клубами жара, — наконецлади дело. Граков вышвырнул форточку в окошке и буркнул:

— Пусть лезет! На корню сгложем!

И потом угрожающе всмотрелся на Виссариона Ивановича:

— Только не судачить на нас! Дружелюбства не жди! Враг! Врагу одна честь! Заволакивай свой инвентарь!

Молодая села на кровать и заплакала. Все вышли в коридорчик. Председатель рабочей фракции отобрал от Бугоркова ключ и подал ему руку с усмешкой.

— Без рабочей фракции ничего бы не получилось! — весело воскликнул он. — Не серчай и ты, Граков! Утеснение всему городу назначено, сам знаешь! Спи с бабой на своей рогожке. Хи-хи! Одна баба у вас счастливая: с обоих алименты потянет! Хо-хо!

Виссарион Иванович трудно, потя и напрягаясь, втащивал свой шкаф. Молодые повернув ему спины, молча сидели за столом. Граков водил пальцем по протекучей чайника и мазал какие-то мокрые буквы. А когда шкаф с ободранными о косяки боками влез в комнату, снова схватились.

— Куда ты ставишь?— шумел Граков. — Где твоя линия? Она не прежняя. Нас двое, а ты один. Понимаешь рехметику: двоим больше и надо. Сдавай, сдавай еще! Свету, говоришь, нет! Ты нам жизнь загородил, а мы и то молчим! Какой тебе свет холостяку? Было бы где ноги положить— да и здравствуешь!

Долго спорили, меряли шагами, веревкой, откладывали на четверти, выкидывали из-под счета плитуса, молодая отжимала Виссариона Ивановича крутыми задиристыми боками, отодвигала шкаф... Бугорков уступал. Не могли договориться из-за света... За полночь Граков весело припрыгнул на месте.

— Ставь на кривую! Угол тебе — и свету вдоволь! Слажено!

Виссарион Иванович натянул веревочку, замахнул на нее занавес и кинулся на кровать. Под теплым и мягким стеганым одеялом — сохранил он его из прошлого — надышав в него распаленным телом тепло, Бугорков улыбался. Была радость, спокойная и ясная, было удовлетворение, было наслаждение лежать на собственной кровати и даже чувствовать ее скрипучие и неудобные железные ребра и пролежни.

Граковы о чем-то тихо шептались, будто шуршало за обоями. Виссарион Иванович часто просыпался, отбивая в сновидениях захваченную у него жилища. И как он не просыпался, он слышал на половине молодых легкую зыбь вздохов, тонкий и сонный свист, шелест одеяла... Будто сама темнота ласкала их, а он ехал с поездом из отпуска и лежал на деревянной вагонной скамье на постной своей подстилке.

.....

Года через два как-то сидели в редакции, и Виссарион Иванович рассказал о своем за-шкафном существовании. Голос у Бугоркова был медлителен и вял. Жил он в маленькой комнатухе за городом—и теперь никто не волновал его скромного бытия. Часто он ездил к себе на буферах, на подножке, в перегруженных пригородных поездах, застревал на остановках, хлестало его дождем и метелями на дачных дорогах, но все это казалось столь обыкновенным, что не помнилось и забывалось за порогом.

— Вот мы и зажили втроем,—улыбнулся Виссарион Иванович.—Бабка не глядит. Маленькая, грудастая, крепкая, большезада. А злая до последней крайности. Она меня и начала измором. Дня через три первый палет.

— Ты по полу ходишь?—кричит.—Пол чистить надо?

Я за щетку в своих апартаментах.

— Не пыли, не пыли так! Ты не двор подметаешь. Одс-жу нашу гадишь. Да ты нарочно что ли? Не маши сплеча щеткой! Щетку мочить надо. И от полу не подымай, а елозь мокрым.

Я беспрекословно. Нет, не так! Отпила у меня щетку. Сама стала подметать.

Раз я мыл свое логово. Выглядывает из-за шкафа на засученные мои руки с тряпкой, на пот мой, будто не лицо у меня, а закапанное дождем стекло в раме — и хохочет. Стала делать уборку бабенка, а с меня деньги, втридорога. Платил.

— Мы тебя выкурим утеснителя! — кричал Граков. — Мы тебе вытряхнем здоровьишко!

И действительно, я начал худеть. Руки дрожат и дергает веко, будто подмигиваю всем.

— Эй ты, моргалка! Шкилет! — язвила баба. — Не греми посудой! Отдыхать не даешь мне!

Восемь месяцев я жил невысказанной и смешной жизнью. За мной охотились. Баба стирала в комнате белье. Наложит груды грязного, — и сверху всякие тряпки, отбросы. Так они и лежали день-другой. Я отворачиваюсь, шмыгаю за занавеску, она подсмеивает. Приду из редакции, занавеска моя отдернута, а на веревочке развешено стирное, проветривается. Снимать не дает: визжит и сердится. Воздух в комнатухе, пар, мыло, грязь... Иду я по улице и пахнет прачешной. Злая брала нарочно чужую стирку, руки содрапы в кровь, устала, а бьет в одно место. Так дней пять в неделю и отравляла меня. Днем стряпает, к вечеру стирка. Готовили мы допреж того на кухне, нет, пе-

рenessла примус в комнату. И закоптили мы трубочистами. Ёморкнушь я, а на платке сажа. Делили расходы за электричество, за отопление... Брань, крик, шум... Платил я больше, платил бессмысленно, но только бы не мучили! Пинут мне из дому письма—не доходят. Полгода она их уничтожала, покуда я не догадался переменить адрес на редакцию. Я в домоуправление. А там рукой махнет председатель рабочей фракции:

— Не, не! Мы тут не при чем! Сам заварил, сам и расхлебывай! И не так еще станут хлопотать, выживаючи! Ты им дурной глаз! По фактическому браку ты третий лишний!

Довела меня баба до того, на цыпочках я стал ходить. И нет мне никакого спокойствия. Сижу за шкафом и жду неприятности. Орет баба, поет, наведет Граков товарищей, снигирей, напьются, лезут ко мне за шкаф, грозят револьверами, кидают через занавеску корки, яичную скорлупу. Взбешусь я, выскочу, а они катаются от хохота, животы трут.

Ходил я только почевать в комнатушку, скитался беспризорным по городу в остальное иремя. А запоздаю — не отворят дверей. Я ломиться: на меня вся квартира. Сонные, раздетые выглядывают из дверей и скандалят.

— Мы тебе не сторожа, не дворники! — вопит баба из комнаты.—Поищи себе других нянек! Полезай в окно!

А жили в четвертом этаже. Ключ я сделал, они на крючок запираются. Ни взад, ни вперед. Выпивши я раз пришел с именин у приятеля. Накипело у меня. В драку. Проснулс я на полу весь рваный, на лице когти бабенки. Неделю сидел безвыходно. Обрадовались случаю и сорвали на мне явную и тайную злость.



Но всего невыносимее было ночью. Денные мелочи, их не пересчитаешь, все же были мелочи. И даже привыкать стал к ним. Баба из себя выходит, а я ничего не отвечаю и усмехаюсь ей в лицо. Ей это зарез. Так бы и впилась в меня зубами.

— Сморчок! Пробник! Слина! Паскудный, паскудный! Нелагожий! Противный! Немилокровой!—бесится баба.

А я ей ласково иногда так отвечаю:

— Бабочка, вередок у вас сядет на губе!

— Тебе, тебе на все места по чирью, сушеному чорту!—шипит неразумная.

Ночью было тяжело. Они меня не стеснялись. Граков открыто ласкал свою бабу.

Я еще не ложился, у меня горел огонь, я выходил в коридор по нужде, они возились на моих глазах. Спали они на кровати, ничем пезаставленной от прохода.

— Отвяжись,—смеялась громко баба, — дурачок-то не спит! Поди, весь красный лежит от своей охотки. Не дразни человечка зря! Он монашек у нас!

И баба в одной рубашонке соскакивала с кровати, заходила ко мне за занавеску. Волосы у ней были распущены. Она, высоко приподымая рубашку, бралась за свои бока и насмешливо и сердито говорила:

— Ты чего же не дрыхнешь? Подслушиваешь? Да как ты можешь мешать мужу с женой?

Глупая и хохочущая рожа снитиря высовывалась за ее плечом. Я хватал со стола книгу—и они убегали.

Это было дико, ужасно... Я не жаловался, не подавал в суд... Но почему?

Представьте, я с содроганием, с молчаливым страхом и волнением, так месяц на третий, почувствовал к бабе,

несмотря ни на что, глубочайшую нежность. Это сделали наглые супружеские ночи. Сначала я удерживал в себе рвоту, отвращение... А потом началось.

Поняла ли баба, нет, наверное не поняла, но меня, конечно, выдавали мои глаза. Она поливает меня своей нелепой словесностью, а я люблю ее мокрыми пухлыми губами, бровями густыми и черными, ласкаю торчком вылезающее из-под платяшка беремья живота. Она к восьмому месяцу была на сносях. Кружится у меня перед глазами маленькая, коренастая грудастая баба. Полюбил я ее глупо, стыдно, борясь с собой... На бабу, иногда, находила усталость. Видимо от тяжести. Она тогда каялась.

— Виссарион Иванович,—тихо она тогда мне говорила.— Не серчай на нас: мы порченные. Ты мученик, знаю, только не жить тебе с нами долго! Не ко двору ты нам! Приищи себе угол!

Я однажды размяк да и схвати ее за руку. Еще бы немножко, я выложил бы ей тайное мое. Спасла сама баба. Усталость ее прошла, разъярилась она и взревела:

— Помогите! Помогите!

Я из комнаты воп. Граков на меня вечером с кулаками.

— Подлец ты,—говорю,—знаешь свою бабу! Подстроить хотите да не придется! Не уеду, не уеду, до смерти с вами проживу!

Они на меня подали в суд о выселении. Тут баба родила. Кричал беспокойно и плакал ночами мальчишка, орала баба, матерился усталый от постовой службы Граков. Житьишко стало еще хуже. А деваться некуда.

За месяц до суда Граков исчез и не появлялся больше. Я ничего не понимал. Баба меня по прежнему строгала и кричала теперь новое слово:

— Разлучники! Разлучники!

На суде я буквально едва сдерживал слезы и думал, до какой гадости и низости во зле может дойти человек.

Я рассказываю, как жили, а бабенка кричит и трясет ребенком:

— Согрешила я, товарищи, согрешила! Сошлась с ним при живом-муже. Улестил он меня своим благородством! И ребеночек сиротка его. Муж-то меня и бросил теперь. Вон он стоит! Не будет мне теперь прощения.

— Не прощу,—твердит Граков.—Не пужна она мне при другом муже. Мы честных баб найдем.

— Признаете вы себя отцом ребенка?—спрашивает у меня судья.—Гражданка Гракова записала его на вас.

— Его, его!—вопит баба.—Все выражение лица его. Сразу видать не простой ребенок. Антиллигентый! Моей кровинки не осталось пролетарской. Всё вытравил. Буржуя родила на свою головушку!

Я при таком подвохе только глазами хлопаю и в беспомоществе машу рукой.

— Вам же,—говорит судья,—будет удобнее. Мы Гракова выселим, вы со своей женой и останетесь одни в комнате.

— И он меня бросит! И он меня бросит!—плачет баба.—Вижу, отказывается, проселок выглядывает для бегства. И как же поднять мне малютку моего без средств прожительства?

Я овладел своим, отнявшимся было языком, и резко сказал:

— Это, гражданин судья,—беспримерный шантаж! Это все подстроено! Я не признаю себя отцом чужого мне ребенка. Я прошу меня выселить из комнаты.

Баба тут взвыла так, что судья зазвонил в колокольчик: — О! Побёг, побёг! Товарищ судья, товарищ заседатель, спасите меня вдову при двух муженьках-распутниках! Признай-сь он отцом, заседил бы он меня в компатушке! Одна я хочу, отринутая, скоротать свой век без подлых муций! Узнала я, признала тепереча на век свой вековущечка натуру мужичью! На ребеночка мне бы помога—и и управлюсь со слезам своим! Не милы мне оба! Насильно собачку привязать можно, а не человека.

— Я знать не знаю!—твердил Граков.—Спал с ней, конечно, и я, как муж. Ей виднее от кого ребенок. Она передо мной кается, а настоящего вам отца показывает.

— Ваше последнее слово?—сердится и подозревает меня судья—согласны ли вы признать свое отцовство и остаться на совместное с ней проживание?

— А вы,—обращается он к Гракову—согласны ли забыть ее ошибку и снова сойтись с ней?

И сказали мы с ним враз:

— Нет.

Суд постановил нас обоих выселить с предоставлением нам жилой площади в доме.

С меня же присудили в добавление алименты.

Вышел я на улицу и захохотал. А Граковы идут впереди вместе и тоже хохочут.

В тот же день я договорился со старухой ветопницей в подвале и начал перетаскиваться к ней. Шкаф мой свалили в котельное отделение; не влезал на полторы сажени без двух аршин.

— А, что?—дразнила баба меня.—Вытряхнулся? Поцелуй ребеночка-то, сына-то? За мученья наши плати теперь!

Граков был при этом и колотил себя, издеваясь надо мной, но лбу.

— Мадама Гракова-Бугоркова! — кривлялся он.—Обзаведись третьим мужем. В подвал не моги, не моги! Дитю показывать надобно, а не прочее такое, бабское обзаведение!

— Вы, вы...—дрожал я и не мог выговорить.

— Мы, мы, мы,—толкала баба меня в спину—мы сами по себе, а ты дань нам плати. Детей наших обстраивай.

Так меня и растоптали. У старухи я провел полгода. Это еще труднее рассказать.

Когда я устроился за городом наконец, пошел в баню, увидел десятичные весы, прикинул по нашим обтянутым ребрам свой вес: похудел за полгода я на пятьдесят фунтов.

Алименты я платил год. Потом ребенок умер.

Дико сказать, невероятно, но платил я алименты с удовольствием, даже за три месяца заплатил после его смерти, так самой ей на квартиру и послал.

Баба смеялась, а брала. Спигирь Граков числился на проживании в милиции, в дежурке, а жил, конечно, со своей бабой.

Посмейтесь надо мной, похочите, ведь я до сих пор питаю к ней глубочайшее, неразделенное чувство! При встречах с Граковым на улицах мы раскуриваем.

Ее же лучше не встречать, чтобы не подымалась горечь с отстоянного дна моих чувств!

.....

А недавно Виссарион Иванович выдавал нам деньги в редакции, вдруг входит маленькая женщина в платке и манит его пальцем... Бугорков встретился легко и радостно. И они ушли в коридорчик. Манящая нам шепнула:

— Это та... баба-то... Гракова... жена Виссариона Ивановича. Ушла к нему от мужа... Пятый месяц... Ревнивая. Каждый день его со службы встречает. Виссарион Иванович вздумал раз проводить меня... Паткнулись на нее... Она на меня красная глядит, дрожит, зубы шевелится, а выговорить ничего не может... Повернулась потом и... бегом. Виссарион Иванович вдогонку... Недели две ходил на службу с расцарапанным носом.

---

## В ВАГОНЕ

Мужик, держа над головой длинную корзину из драпи, протолкался с площадки в вагон и присел на краешек скамейки. Он поставил корзину к себе на колени, прикрыл ее мешком и снял картуз с мокрого лба. В корзине что-то шевелилось, а потом начало тихонько повизгивать, захрюкало и затыкалось в заскрипевшую дрань.

— Что у вас там?—вскрикнула женщина.

Она пододвинулась недавно на скамейке и дала место мужику, жалея его.

Мужик охотно и готовно ответил:

— Свишка, гражданочка!

И он ласково забурчал, заглядывая под мешок:

— Чушка, чушка, чево ты еренивишься? Помолчи, помолчи, толстобрюхая!

— Какое безобразие! — воскликнула женщина и наклонилась к другому соседу, отжимая его к окну. — Граждане! В вагоне с людьми везут свиней.

Придавленный к окну сосед раздвинул локти и насмешливо кинул женщине:

— Вы бы, товарищ, еще легли на меня! Отодвиньтесь, говорят вам, чего вы меня тискаете? Ну, время было бы ночное, другое дело, а при свете малость неудобно!

Вагон хихикнул.

— Ка-а-к вы смеете?—скраспела женщина.—Это пахальство с вашей стороны!

Сосед спокойно засмеялся.

— Вот те изволь—позволь! Ее сторона меня жмет, а моя сторона вишовата?

— Куда ж мне деваться?—шипела женщина.—С одного боку свинья, с другого вы...

— А кто вам велел этого товарища со свињей пускать на скамейку. Скамейка на двоих: вы да я, а тут теперь четверо.

Корзина ковылялаь на коленях у мужика. Он, теряясь, торопливо говорил:

— А вы, гражданочка, не бойтесь: она ведь маленькая, не тропет вас. Большие борова, не выложены когда... Место у них такое вырезают... Как и среди людей скопцы есть... Но женскому делу поди и не слыхали!.. И то не трогают... И духу от них никакого нет. Не кормлены паротно... Не нагадили бы, думал, на людях! Известно, животные! Понимания нет. Хрюкает. Не падо бы хрюкать, а она хрюкает. Уж будьте покойны, голубушка! Не выскочит. Не бойтесь домашнего зверя—он человека смирнее, самого его хозяина.

Женщина возмушалась все настойчивее и злее.

— С чего вы взяли — боюсь я? Но это возмутительно! Свињи и люди. Люди и свињи!

— Совершенно справедливо!—поддержал старичек напротив.—Совершенно верно! Разнузданное озоретво!

— А чем свинья хуже собаки? — кричал кто-то вглуби вагона.

И другой ему вторил:

— Или кошек? В вагоне три собаки и одна конка.



— В хозяйстве все животные с хозяевами живут. В деревнях в избе ходят и под себя делают на пол.

— Благородные кости показывают, буржуи!

Вагон шумел и кричал.

— Вези, мужик, ну их к шутам!

— Всякую птичку слушать — житья не будет рабочему пролетариату!

— Пахнет да воняет! От самих не меньше несет запахами великими. Нам, может, сало ихнее хуже свиной разят!

— Я, вон, больной. У меня от пог потом несет, как от покойника. Меня тоже в вагон не пускать? Проезда лишит? Выдумки одни и привычки от старого режима!

— Гражданочка, гражданочка, — суетился мужик, — чем вам только свинка мешает. Вот, ежели бы она по полу ходила, другое дело. Обнюхивала бы пятачком платице, балмачки, разрывала кулечки с провизией, а то ведь она под закрытой, не на виду. Только што хрюкает. Так у нее голос такой. Животное. Мы говорим слова, а она те же слова хрюкает.

— Кондуктора! Кондуктора! — надрывалась женщина. — Он не понимает! Ему не поняты!

Старичок выговаривал мужику:

— Свинья есть живность, а мы люди! Мы хотим ехать с людьми, а не со свињями! Ты, милый человек, дурак! У тебя нет разницы между свињей и человеком!

— Свињю и христос проклял!

— Эй, вы, — мертвая церковь, христа давно забаллотировали!

— Единогласно! С порицанием!

— Не слушай, мужик, не поддавайся. Они у тебя по дешовке свинью жалают купить!

— Свинья нельзя: он бес!—угрюмо сказал татарин - халаточник.

Мужик оправдывался:

— Я разе виновен: от отца воспринял свиное дельце. У меня сорок свиней без малово. Племенные свинки есть. Советска же власть забирает на племя. По восемнадцать пудов боровов вырациваю!

В корзине, с'ехавшей с колец, поднялась визготня и оглушающий плач.

— Нам - то што, нам - то наплевать! — засмеялся сосед у окна. — Отвяжись ты, мужик, онотел я от прижимки этой толстой гражданки! Будто кипятильник пышет. Рубаха у меня мокрая.

— Кондуктора! Кондуктора!

Залаяли собаки и рвались к мужику. В вагоне была свалка голосов, криков, махали руками, грозились друг другу, перекидывали вещи с полки на полку, хохотали.

Мужик не выстоял. Он поднял снова на голову корзину и дружелюбно забормотал женщине:

— Песпроста ты, гражданочка, живешь на свете! Песпроста! Самой себе беспокойство. Пойду уж сдам в багаж. Похрани, мать, мешочик и местечко мое!

Мужик положил на краешек скамейки мешок. Женщина брезгливо отодвинулась.

Скоро, после остановки, мужик вернулся и тихо сел, разглядывая квитанцию. Женщина довольно покосилась на него.

— Ввела ты, гражданочка, в из'ян меня, — сказал мужик. — И до места-то мне осталось полдюжины станций.

Провез бы задарма! А то десять станций только и заработал от твоей горячки.

Женщина с'ехидничала:

— Вашей свинке теперь очень скучно.

Она улыбнулась, зажимая рот белой рукой.

— Нет, не скучно, — тоже ухмыльнулся мужик — их там две.

## ПРОНЬКИНЫ ПРОВОДЫ

Пронька коренаст. У него усы, как кошачьи хвосты. Глаза голубеют. Он охотник. Был он земским пачальником. А отсюда и начинается рассказ о Пронькиных проводах. Станал и цел мужицкий стан Проньки:

Ой горюшко горе,  
Мужицкое горе.

Дожил Пронька до вьюжных февральских дней — и вострепетал. Проехался тайком по своей вотчине и засел в своем логовище. Усадьба у Проньки стародавняя, прадедовская, в парках, в прудах, в увялых цветниках, стоит на заднем дворе каменная белая баба, а на переднем дворе — две маленьких пушки. Из этих пушек палили в именины дедушки и бабушки. Стадо у Проньки скудельное, жеребцы не первостатейные — пьяница был Пронька. Но сбегают хлебные горы на десять окоемых верст колесом, и ржаное золото плавится в Пронькиных руках в зимние мятельные времена.

Пожгли у него летом хуторок в полях и отпахали клин мужики к своей земле. А из города прислал губернский комиссар-друг охрану. Мужики и отступили от усадьбы.

Кормил Пронька солдат и глядел из парка, как верховые хорошо и ловко гарцевали с красными балтиками на груди

по захудалым пожарникам, остерегая Пронькины земли. И робость февральская прошла.

Ломили мужики в полях, собирая Проньке урожай. Катал он на беговых дрожках по зеленым дорогам, досматривал поваленную в суслоны рожь. Кланылись мужики и величали баринном.

Пронька укрепился и сел в земскую управу опять со своими за одним зеленым столом. Февраля не было.

Но тут задули октябрьские ветра и стало темно и невмоготу в парке.

Из-за белой каменной бабы глядел раз на зарево в ночь на город, а под утро прискакал на своем-двоем братец-беглец и просил укрыть. И сказал ему:

— Дома нет! И ничего нет! Отбирают! Большевики одолели Россию! Конец! Проя! Пришел конец!

Походили по парку. Перебрал Пронька братца подалее к тестю за сорок верст в усадьбу „Березки“, а сам застался, понадеялся на тишость мужичью в его стане.

И вот немного погодя, видит Пронька везжают к нему на двор, к пушкам, мужичьи подводы, слезают мужики целой деревней с топорами, ружьями, вилами и дреколнем...

Екнуло сердце у Проньки, забегал по комнатам, забрался под перину, перекушился в пуху, задрыгал на пружинах... и замер от стука.

Ввалился народ в дом, требовал Проньку. Нашли под периной.

— Почивали здорово!

Залепетал Пронька, прыгая головой и губой.

— Здравствуйте, здравствуйте, братцы! Что скажете? За чем пожаловали?

— За тобой! Давай собирайся!

— Куда, братцы? Я всегда готов. Слышал, слышал: рабочая и крестьянская заря поднялась над родиной! Приветствую, поздравляю!

— Ладно, ладно! Собирайся по добру по здорову. Падевай свою епанчу.

— Я... я... я... Вещи у меня... жена... я уеду. Дайте уложить вещи. Что вы, братцы, братцы?

— Окошеливайся!

— От тебе дадим венцу в лоб! Укладесея в мать сыру прорву!

— Безлошадной ты темерь! Нажеребячился!

— Онося и жена приедет!

— Да, ну же, говорят тебе, одевайся! Не вводи в соблазн и в охотку!

Мужики затопались и закричали.

— Не надо нам тебя! Поезжай в город! Там с тобой управятся!

Быстро собрался Пронька. Посадили его мужики на лошадь. Кстати кувырнули с крылечка одну пушку: менала выходить. Молча повезли на станцию. В полях пронзительно дуло с прадедовских земель. Пронька ежилея и поглядывал из-под шапки на вздымавшийся у его плеча сыркой и суковатый кол смирного мужика Терехи-кузнеца. Ковал он третьеводни коня Вёрона и весело тарабарил с Пронькой о том о сём.

В ушах у Проньки ныл и кололея плач жены; а за глазами стояла она напуганная на террасе в пуховом белом платке. Стерёг ее в стеклянных дверях свой кучер Ермил с вожжами.

Сидел Пронька три часа на станции под охраной: ожидали поезда. Мужики окружили его зазябшим кружалом, отгоняли любопытных и курили.

— Земской? Земской? В клетке!—слышал Пронька.—Куды его? В тюрьму? Расстреливать? За-а-службнный человек пуле! Чего рабочий день тратить? Под колесо бы его, братцы, а? Хрусточек один—и нет человека? И памятно на весь стан!

Пронька дрожал, как перышки, поддуваемые ветром, воробья, скакавшего на земле рядом с мужичьими сапогами по кружалом. Пронька видел воробья промеж черных и грязовитых голенищ мужиков, частоколом огородивших узника.

А как подошел поезд, мужики купили Проньке билет третьего класса, довели до вагона, посадили — и все сразу сказали, глядя неотступными резаками глаз:

— Мотри, к нам ни ногой! Коли приедешь—убьем! А жена одна приедет. Хозяйство едас и приедет. Тоже приведем, великотно, сюды же! На бабу не обрадеем—стара. . И свои есь пущей ядрености!

И мужики весело гоготнули. Пронька украдкой придерживал скакавшее Вороном озябшее сердце.

Тронулся поезд, метнулись в окнах мужичьие вилы, грозили, гроыхнули, как железные колеса под вагоном, голоса, Пронька зажмурился и не мог побороть озноба до города.

.....

В двадцатом году Пронька заведывал государственным случным пунктом. И был он Авиниром Петуховым. Бойкий и ловкий, весельчак, знаток случки, подвыпив, он говорил другу своему красному лесничему:

— Каков народ? Какой молодец наш народ? Кладезь, неисчерпаемый кладезь! Ты подумай, самодержавие свергнуто одним махом! Илья Муромец скинул свою рубаху и, как вшей, отряс с себя тунеядцев! Но какая душа, какая удивительная душа у этого народа? Я вот слышал. Был один земский начальник. Можно сказать — стражник самодержавия. Бывал строг, конечно, при исполнении служебных обязанностей. У другого народа он мог бы стать объектом ненависти. Но ведь эти славные, незлобивые и великодушные дети, проводили его в октябрьские дни... Воктябрьские дни! Ты смеряй глубину, океан этой народной души, проводили со слезами на глазах, при всем народе, едва паразит удержал от колокольного звона, поднесли икону, Пантелеймона Великомученика. Символ-то какой, символ-то? Проводили до вокзала. Ты скажешь вредная слабость, классовая отсталость, его гадину нужно было четвертовать, головой вниз зарыть живьем у помойки за народные бедствия! Я согласен с тобой. У меня бы не дрогнула рука кинуть его, как надаль, под коньта моих беспокойных жеребцов! Сам бы я размозжил ему череп запором от конюшни! Дерево бы на него уронил с верхнего венца на срубе! А все же удивительно трогательно! Великий народ! Какое высокое благородство сидит в нашем мужике! Я знал этого человека. Потом его все же в городе, ах, горожанин тот жестокосерд и мстителен, расстреляла Чека за укрывательство своего званья и за перемену фамилии. Я заходил к нему. Конечно, и я и не подозревал, с кем имею дело. Он был мирным советским тружеником. Любопытствуя, я заходил к нему посмотреть икону. Он меня, конечно, обманул, заявив, что она как-то случайно у него осталась от того мифического



земского начальника. А он сам и был, как выяснилось потом, хозяином сего деревенского образа кротости. Мне было прямо неловко перед этими добряками: всетаки, знаешь, ценная старинная икона, они на нее собирали свои трудовые крохи! Да, да, я был до слез растроган! Можно, можно еще жить на свете принадлежа к такому царю! Великий, неподражаемый царь!

Пронька пьяно шарашился с лесничим по казенному коннозаводству и показывал глазами на проходивших мужиков, восторженно крича:

— Велика-а-пы!

Мужики невесело улыбались и скидывали шапки, а Пронька воил:

— Эй, ты, правительство, рабоче-крестьянское правительство, дай я тебя облобызаю!

Он лез целоваться с мужиками, с другом своим красным лесничим.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Воры 12-го полка . . . . .	3
Аннушка . . . . .	10
Кинос'емщики. . . . .	18
Выдали. . . . .	24
За шкафом . . . . .	28
В вагоне . . . . .	45
Пронькины провода . . . . .	50

---

<p><b>ВАСИЛИЙ КАЗИН</b></p> 	<p>ИЗМЕНА <b>РЕКИ ОГНЕННЫЕ</b></p> 	<p>ИЗМЕНА <b>СОВРЕМЕННЫЙ КУДЕСНИК</b></p> 	<p>А. ШВАБОВИЧ <b>В КОЛЛЕКТИВЕ</b></p> 
<p>А. ПЕРСКИИ <b>ПЛАСТЫ</b> О ЧЕРНОМ</p> 	<p><b>ЕФИМ ЗОЗУЛЯ</b> РАССКАЗ ОБ АРАФ «ЧЕЛОВЕК И ТОТ»</p> 	<p><b>М. ГОРЬКИЙ</b> ВРАТЯТЬ ШЕСТЬ «ОДНА»</p> 	<p><b>В. ЮРЕНЕВА</b> АКТРИСА</p> 
<p><b>Л. ТОЛСТОЙ</b> «ИЗЪЕМЪ» — ПОВЕЩАНИЕ РАБОТЫ</p> 	<p>Ю. ВОДИН <b>КРАСНАЯ МЕЛЬНИЦА</b></p> 	<p>А. КИРИЛЛОВ <b>ПРОЛЕТАРСКИЕ ПОЭТЫ</b></p> 	<p>С. ШТРАЙХ <b>ЗАГОВОР И ВОССТА- НИЕ ДЕКАБРИСТОВ</b></p> 
<p>С.А.В. ВЕНДИМ <b>МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ</b></p> 	<p>Н. Ф. ЛЕОНТЬЕВ <b>УСТАЛОСТЬ</b></p> 	<p><b>БЕЛА ИЛЛЕШ</b> ДОКТОР ТУС</p> 	<p><b>Г. ГАУПТМАН</b> ТРАГЕДИЯ</p> 

Цена 15 коп.

18

ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ „ОГОНЕК“

Еженедельно ОДНА книжка:

1 мес.—50 к., 3 мес.—1 р. 50 к., 6 мес.—3 р., 1 год—5 р.

Еженедельно ДВЕ книжки:

1 мес.—1 р., 3 мес.—3 р., 6 мес.—5 р., 1 год—10 р.

Москва, Тверской бульвар, д. 26, телеф. 5-51-69.

Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“.